

НАДЕЖДА ТЭФФИ

О ЛЮБВИ
(СБОРНИК)

Надежда Тэффи
О любви (сборник)

«Public Domain»

Тэффи Н.

О любви (сборник) / Н. Тэффи — «Public Domain»,

Любовь рождается неожиданно и так же неожиданно исчезает, как будто и не было вовсе. И для чего? Ведь остается только горько-сладкое послевкусие разочарования от несбывшихся надежд...

Содержание

Рассказы	5
Любовь	5
Счастливая любовь	9
О вечной любви	12
Любовь и весна	15
Жених	20
Атмосфера любви	24
Виртуоз чувства	27
Самоотверженная любовь	30
Весна	32
Счастливая	34
Ревность	36
Брошечка	39
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Надежда Тэффи

О любви (сборник)

Рассказы

Любовь

Это были дни моей девятой весны, дни чудесные, долгие, насыщенные жизнью, полные до краев.

Все в эти дни было интересно, значительно и важно. Предметы были новы, люди были мудры, знали удивительно много и хранили свои великие темные тайны до какого-то неведомого мне срока.

Радостно начиналось утро каждого долгого дня: тысячи маленьких радуг в мыльной пене умывальника, новое, легкое, светлое платье, молитва перед образом, за которым еще не засохли новые вербочки, чай на террасе, уставленной вынесенными из оранжереи кадками с лимонными деревьями, старшие сестры, чернобровые, с длинными косами, еще непривычные, только что приехавшие на каникулы из своего института, и хлопанье вальков на пруду за цветником, где звонкими голосами перекликаются полошущие белье бабы, и томное кудахтанье кур за купой молодой, еще мелколистной сирени; все само по себе было ново, радостно и, кроме того, обещало что-то еще более новое и радостное.

И вот в эту весну, девятую в моей жизни, пришла ко мне моя первая любовь, пришла, прошла и ушла вся целиком – с восторгом и болью и разочарованием, как и быть полагается каждой настоящей любви.

* * *

Четыре девки в холщовых рубахах с расшитыми наплечниками, в запасках и монистах – Ходоска, Параска, Пидорка и Ховра – пололи в саду дорожки. Скребли, чиркали лопатками свежую черную землю, переворачивали плотными маслянистыми ломтями, отдирали цепкие, трескучие, тонкие, как нервы, корешки.

Я целыми часами, пока не позовут, стояла и смотрела и вдыхала душный, сырой запах земли.

Монисты мотались и звякали, загорелые первым красным загаром руки легко и весело скользили по деревяшкам лопат.

И вот как-то вместо Ховры, белесой, коренастой, с красной тесьмой вокруг головы, я увидела новую, высокую, гибкую, узкобедрую.

– Новая, а вас как зовут? – спросила я.

Темная голова с узким белым пробором, обмотанная плотными четырехрядными косами, поднялась, и глянули на меня из-под круглых союзных бровей лукавые темные глаза, и усмехнулся румяный веселый рот:

– Ганка!

И зубы блеснули, ровные, белые, крупные.

Сказала и засмеялась, и все девки засмеялись, и мне тоже стало весело.

Удивительная была эта Ганка! Чего она смеялась?! И отчего от нее так хорошо и весело? Одетая хуже, чем франтиха Параска, но толстая полосатая запаска так ловко обтягивала узкие

стройные бедра, красный шерстяной кушак так беспокойно и крепко сжимал талию, и зеленая тесемочка так ярко дрожала у ворота рубашки, что, казалось, лучшего ничего и придумать было бы нельзя.

Я смотрела на нее, и каждый поворот ее гибкой темной шеи пел, как песня, в моей душе. И вдруг снова сверкнули глаза, лукавые, щекотные, засмеялись и потупились.

Я удивлялась на Параску, Ходоску, Пидорку – как они могут не смотреть на нее все время и как они смеют обращаться с ней как с равной! Разве они не видели, какая она? Да и сама она как будто думает, что она такая же, как и другие.

А я смотрела на нее недвижно, бездумно, точно сон видела.

Издалека голос позвал меня. Я знала, что это зовут на урок музыки, но не откликнулась.

Потом видела, как по соседней аллее прошла мама с двумя чужими нарядными дамами. Мама позвала меня. Нужно было подойти и сделать реверанс. Одна из дам подняла мое лицо за подбородок маленькой рукой, затянутой в душистую белую перчатку. Дама нежная, белая, кружевная, и, глядя на нее, Ганка показалась мне грубой, шершавой.

– Она нехорошая, Ганка.

Я тихо побрела домой.

На другое утро спокойно, просто и весело пошла посмотреть, где сегодня полют дорожки.

Темные милые глаза встретили меня так же ласково и весело, как будто ничего не произошло, как будто не изменила я им из-за душистой, кружевной дамы. И снова певучая музыка движений стройного тела завладела, запела, зачаровала.

За завтраком говорили о вчерашней гостье, графине Миончинской. Старший брат искренно восхищался ею. Он был простой и милый, но так как воспитывался в лицее, то должен был, говоря, растягивать слова, присюсюкивать и на ходу слегка волочить правую ногу. И здесь летом в деревне, вероятно, боясь утратить эти стигматы дендизма, немало удивлял нас, маленьких, своими повадками.

– Графиня ди-ивно хороша! – говорил он. – Она была первой красавицей этого сэ-эзона.

Брат-кадет спорил:

– Ничего не нахожу в ней особенного. Жантильничает, а у самой лапища, как у бабищи, которая коноплю мочила.

Старший облил кадета презрением:

– Qu'est ce que c'est lapicha? Qu'est ce que c'est ba-bicha? Qu'est ce que c'est konoplia?¹

– Вот кто действительно красавица, – продолжает кадет, – это – Ганка, которая в саду работает.

– Пшш!

– Конечно, она плохо одета, но надень на нее кружевное платье да перчатки, так она этой графине десять очков вперед даст.

У меня так забилося сердце, что я даже глаза закрыла.

– Как можно говорить такой вздор, – обиделась за графиню сестра Вера. – Ганка грубая, с плохими манерами. Она, наверное, ест рыбу ножом.

Я мучилась ужасно. Казалось, что сейчас что-то откроется, какая-то моя тайна, – а в чем эта тайна, я и сама не знала.

– Ну это, положим, к делу не относится, – сказал старший брат. – У Елены Троянской тоже не было гувернанток, и рыбу она ела даже не ножом, а прямо руками, и тем не менее ее репутация мировой красавицы очень прочна. Что с тобой, Кишмиш, чего ты такая красная?

Кишмиш – было мое прозвище, и я отвечала дрожащим голосом:

– Оставьте меня в покое... я ведь вас не трогаю! а вы все... ко мне всегда придираетесь.

¹ Что такое лапища? Что такое бабища? Что такое конопля? (фр., искаж. рус.). – Ред.

Вечером в темной гостиной, лежа на диване, я слушала, как мама играла в зале любимую мою вещь – каватину из оперы «Марта». В мягкой, нежной мелодии было что-то, что вызывало и повторяло во мне то певучее томление, которое было в движениях Ганки. И от сладкой муки, музыки, печали и счастья я плакала, уткнувшись лицом в подушку дивана.

* * *

Утро было серенькое, и я испугалась, что будет дождь и меня не пустят в сад. Меня не пустили.

Грустно села я за рояль и стала играть экзерсисы, сбиваясь каждый раз на том же месте. Но перед завтраком выглянуло солнце, и я кинулась в сад.

Девки только что побросали лопаты и сели полдничать. Достали обвязанные тряпками горлачи и казанки, стали есть кто кашу, кто кислое молоко. Ганка развязала узелок, достала краюху хлеба и головку чесноку, потеряла чесноком корочку и стала есть, поблескивая на меня лукавыми глазами.

Я испугалась и отошла. Очень было страшно, что Ганка ест такую гадость. Этот чеснок точно отодвинул ее от меня. Непонятной и очень чужой стала она мне. Уж лучше бы рыбу ножом...

Я вспомнила, что брат говорил о Елене Прекрасной, но не утешилась и побрела домой.

У черного крыльца сидела няня, вязала чулок и слушала, что ей рассказывает ключница.

Я услышала слово «Ганка» и притихла. Знала по опыту, что если подойду, то или меня отошлют, или разговаривать перестанут.

– Всю зиму у управляющих прослужила. Девка работающая. Однако замечает управляющих: что ни вечер, у ней солдат сидит. Раз выгнала, два выгнала, каждый раз не нагоняешься.

– Известное дело, – соглашается няня, – где ж каждый раз нагоняться-то.

– Ну и ругала ее, конечно, и все. А той что – только хохочет. А под Крещение слышит управляющих, будто Ганка в кухне что-то переставляет, не то что. А утром слышит – пищит что-то. Пошла в кухню – Ганки нет, а на постели в тряпках ребеночек пищит. Испугалась управляющих, ищет Ганку, куда, мол, она уползла, не случилось ли чего худого.глянула в окно – ан Ганка-то у проруби босая стоит, белье свое полощет и песню поет. Хотела ее управляющих прогнать, да жалко стало, что уж больно девка здорова!

Я тихо отошла.

Значит, Ганка знакома с простым необразованным солдатом. Ужас, ужас. И потом она мучила какого-то ребеночка. Тут что-то уж совсем темное и страшное. Она его где-нибудь стащила и спрятала в тряпках, а когда он запищал, она побежала к проруби песни петь.

Я тосковала весь вечер, а ночью видела сон, от которого проснулась в слезах. Но сон был не грустный и не страшный, и плакала я не от горя, а от восторга. Проснувшись, я плохо помнила его и рассказать не могла.

– Снилось мне лодка, совсем прозрачная, голубая; она проплыла через стену прямо в серебряные камыши. Это были все стихи и музыка.

– Да ты чего реवेशь-то, – удивлялась няня. – Лодка приснилась, так уж и реветь. Может, это еще к хорошему, лодка-то.

Я видела, что она не понимает, а рассказать и объяснить я больше ничего не могла. А душа звенела, и пела, и плакала от восторга. Голубая лодка, серебряный камыш, стихи и музыка...

В сад не пошла. Было страшно, что увижу Ганку и начну думать про жуткое, непонятное – про солдата и ребеночка в тряпках.

День потянулся беспокойный. На дворе гулял ветер, гнул деревья, и те мотали ветками, и листья на них сухо кипели шумом морской пены.

В коридоре около кладовой новость: на столе откупоренный ящик с апельсинами. Это значит, сегодня привезли из города и подадут после обеда.

Я обожаю апельсины. Они круглые и желтые, как солнце, а под шкуркой у них тысячи крошечных мешочков, налитых душистым сладким соком. Апельсин радость, апельсин красавец.

И вдруг мне вспомнилась Ганка. Она ведь не знает апельсина. Теплая нежность и жалость согрели сердце.

Бедненькая! Не знает. Дать бы ей хоть один. Да как быть? Взять без спросу немислимо. Спросить, скажут – за обедом получишь. А унести от обеда нельзя. Не позволят, либо спросят, а не то так еще и сами догадаются. Может быть, смеяться станут... Нет, надо просто взять, да и все тут. Ну накажут, не дадут больше, и все тут. Чего бояться.

Круглый, прохладный, приятный, он у меня в руке.

Как могла я это сделать? Воровка! Воровка! Ничего. Потом, потом все это разберется, а сейчас – скорее к Ганке.

Девки пололи у самого дома, у черного крыльца.

– Ганка! Это вам, вам. Попробуйте... это вам.

Смеется румяный рот.

– Це шо?

– Апельсин. Это для вас.

Вертит в руке. Не надо ее стеснять.

Я побежала домой и, высунувшись через окно коридора, смотрела, что будет. Хотела пережить с ней ее удовольствие.

Она откусила кусок прямо со шкуркой (чего же я не вычистила!) и вдруг распялила рот и, вся уродливо сморщившись, выплюнула и отшвырнула апельсин далеко в кусты. Девки окружили ее, смеясь. А она все морщилась, мотала головой, плевала и вытирала рот рукавом шитой рубахи.

Я сползла с подоконника, быстро прошла в темный угол коридора и там, забившись за большой крытый пыльным ковром сундук, села на пол и заплакала.

Все было кончено. Я стала воровкой, чтобы дать ей самое лучшее, что я только знала в мире. А она не поняла и плюнула.

Как изжить это горе и эту обиду?

Я плакала, сколько слез хватило. Потом, кроме мысли о моем горе, мелькнула новая:

– Нет ли за сундуком мыши?

Этот страх вошел в душу, окреп, спугнул прежнее настроение и вернул к жизни.

В коридоре встретила няня. Она всплеснула руками:

– Платье-то, платье-то все как есть завалила! Да ты никак опять плачешь?

Я молчала. Сегодня утром человечество не поняло моих серебряных камышей, которые мне так хотелось объяснить. А «это» – это даже и рассказать нельзя. В «этом» я должна быть одинока.

Но человечество ждало ответа и трясло меня за плечо. И я отгородилась от него, как сумела:

– Я не плачу. Я... у меня... у меня просто зуб болит.

Счастливая любовь

Наталья Михайловна проснулась и, не открывая глаз, вознесла к небу горячую молитву: «Господи! Пусть сегодня будет скверная погода! Пусть идет дождь, ну хоть не весь день, а только от двух до четырех!»

Потом она приоткрыла левый глаз, покосилась на окно и обиделась: молитва ее не была уважена. Небо было чисто, и солнце катилось по нему как сыр в масле. Дождя не будет, и придется от двух до четырех болтаться по Летнему саду с Сергеем Ильичом.

Наталья Михайловна долго сидела на постели и горько думала. Думала о любви.

«Любовь – очень тяжелая штука! Вот сегодня, например, мне до зарезу нужно к портнихе, к дантисту и за шляпой. А я что делаю? Я бегу в Летний сад на свидание. Конечно, можно притвориться, что заболела. Но ведь он такой безумный, он сейчас же прибежит узнавать, в чем дело, и засядет до вечера. Конечно, свидание с любимым человеком – это большое счастье, но нельзя же из-за счастья оставаться без фулярового платья. Если ему это сказать, он, конечно, застрелится, – хо! Он на это мастер! А я не хочу его смерти. Во-первых, потому, что у меня с ним роман. Во-вторых, все-таки из всех, кто бывает у Лазуновых, он самый интересный...»

К половине третьего она подходила к Летнему саду, и снова душа ее молилась тайно и горячо:

«Господи! Пусть будет так, что этот дурак подождет-пождал, обиделся и ушел! Я хоть к дантисту успела бы!..»

– Здравствуйте, Наталья Михайловна!

Сергей Ильич догонял ее смущенный и запыхавшийся.

– Как? Вы только что пришли? Вы опоздали? – рассердилась Наталья Михайловна.

– Господь с вами! Я уже больше часа здесь. Нарочно подстерегал вас у входа, чтобы как-нибудь не пропустить.

Вошли в сад.

Няньки, дети, гимназистки, золотушная травка, дырявые деревья.

– Надоел мне этот сад.

– Адски! – согласился Сергей Ильич и, слегка покраснев, прибавил: – То есть, я хотел сказать, что отношусь к нему адски... симпатично, потому что обязан ему столькими счастливыми минутами!

Сели, помолчали.

– Вы сегодня неразговорчивы! – заметила Наталья Михайловна.

– Это оттого, что я адски счастлив, что вижу вас. Наташа, дорогая, я тебя три дня не видел! Я думал, что прямо не переживу этого!

– Милый! – шепнула Наталья Михайловна, думая про фуляр.

– Ты знаешь, ведь я нигде не был все эти три дня. Сидел дома как бешеный и все мечтал о тебе. Адски мечтал! Актриса Калинская навязала мне билет в театр, вот посмотри, могу доказать, видишь билет, – я и то не пошел. Сидел дома! Не могу без тебя! Понимаешь? Это – прямо какое-то безумие!

– Покажи билет... А сегодня какое число? Двадцатое? А билет на двадцать первое. Значит, ты еще не пропустил свою Калинскую. Завтра пойдешь.

– Как, неужели на двадцать первое? А я и не посмотрел, – вот тебе лучшее доказательство, как мне все безразлично.

– А где же ты видел эту Калинскую? Ведь ты же говоришь, что все время дома сидел?

– Гм... Я ее совсем не видел. Ну вот, ей-богу, даже смешно. А билет, это она мне... по телефону. Адски звонила! Я уж под конец даже не подходил. Должна же она понять, что я не

свободен. Все уже догадываются, что я влюблен. Вчера Марья Сергеевна говорит: «Отчего вы такой задумчивый?» И погрозила пальцем.

– А где же ты видел Марью Сергеевну?

– Марью Сергеевну? Да, знаешь, пришлось забежать на минутку по делу. Ровно пять минут просидел. Она удерживала и все такое. Но ты сама понимаешь, что без тебя мне там делать нечего. Весь вечер проскучал адски, даже ужинать не остался. К чему? За ужином генерал Пяткин стал рассказывать анекдот, а конец забыл. Хохотали до упаду. Я говорю: «Позвольте, генерал, я докончу». А Нина Павловна за него рассердилась. Вообще масса забавного, я страшно хохотал. То есть не я, а другие, потому что я ведь не оставался ужинать.

– Дорогой! – шепнула Наталья Михайловна, думая о прикладе, который закатит ей портниха. «Дорогой будет приклад. Самой купить, гораздо выйдет дешевле».

– Если бы ты знала, как я тебе адски верен! Третьего дня Верочка Лазунова зовет кататься с ней на моторе. Я говорю: «Вы, кажется, с ума сошли!» И представь себе, эта сумасшедшая чуть не вывалилась. На крутом повороте открыла дверь... Вообще тоска ужасная... о чем ты задумалась? Наташа, дорогая! Ты ведь знаешь, что для меня никто не существует, кроме тебя! Клянусь! Даже смешно! Я ей прямо сказал: «Сударыня, помните, что это первый и последний раз...»

– Кому сказал? Верочке? – очнулась Наталья Михайловна.

– Катерине Ивановне...

– Что? Ничего не понимаю!

– Ах, это так, ерунда. Она очень умная женщина. С ней иногда приятно поговорить о чем-нибудь серьезном, о политике, о космографии. Она, собственно говоря, недурна собой, то есть симпатична, только дура ужасная. Ну и потом, все-таки старинное знакомство, неловко...

– А как ее фамилия?

– Тар... А впрочем, нет, нет, не Тар... Забыл фамилию. Да, по правде говоря, и не полюбывал. Мало ли с кем встречаешься, не запоминать же все фамилии. У меня и без того адски много знакомых... Что ты так смотришь? Ты, кажется, думаешь, что я тебе изменяю? Дорогая моя! Мне прямо смешно! Да я и не видал ее... Я видел ее последний раз ровно два года назад, когда мы с тобой еще и знакомы не были. Глупенькая! Не мог же я предчувствовать, что встречу тебя. Хотя, конечно, предчувствия бывают. Я много раз говорил: «Я чувствую, что когда-нибудь адски полюблю». Вот и полюбил. Дай мне свою ручку.

«Как он любит меня! – умилилась Наталья Михайловна. – И к тому же у Лазуновых он, безусловно, самый интересный».

Она взглянула ему в глаза глубоко и страстно и сказала:

– Сережа! Мой Сережа! Ты и понять не можешь, как я люблю тебя! Как я истосковалась за эти дни! Все время я думала только о тебе. Среди всех этих хлопот суетной жизни одна яркая звезда – мысль о тебе. Знаешь, Сережа, сегодня утром, когда я проснулась, я даже глаз еще не успела открыть, как сразу почувствовала: «Сегодня я его увижу».

– Дорогая! – шепнул Сергей Ильич и, низко опустив голову, словно под тяжестью охлынувшего его счастья, посмотрел потихоньку на часы.

– Как бы я хотела поехать с тобой куда-нибудь вместе и не расставаться недели на две...

– Ну, зачем же так мрачно? Можно поехать на один день куда-нибудь, – в Сестрорецк, что ли...

– Да, да, и все время быть вместе, не расставаться...

– Вот, например, в следующее воскресенье, если хочешь, можно поехать в Павловск, на музыку.

– И ты еще спрашиваешь, хочу ли я! Да я за это всем пожертвую, жизнь отдам! Поедем, дорогой мой, поедем! И все время будем вместе! Все время! Впрочем, ты говоришь – в следу-

ющее воскресенье, не знаю наверное, буду ли я свободна. Кажется, Малинина хотела, чтобы я у нее обедала. Вот тоска-то будет с этой дурой!

– Ну что же делать, раз это нужно! Главное, что мы любим друг друга.

– Да... да, в этом радость. Счастливая любовь – это такая редкость. Который час?

– Половина четвертого.

– Боже мой! А меня ждут по делу. Проводи меня до извозчика. Какой ужас, что так приходится отрываться друг от друга... Я позвоню на днях по телефону.

– Я буду адски ждать! Любовь моя! Любовь моя!

Он долго смотрел ей вслед, пока обращенное к нему лицо ее не скрылось за поворотом. Смотрел, как зачарованный, но уста его шептали совсем не соответствующие позе слова:

– «На днях позвоню». Знаем мы ваше «на днях». Конечно, завтра с утра трезвонить начнет! Вот связался на свою голову, а прогнать, – наверное, повесится! Дура полосатая!

О вечной любви

Днем шел дождь. В саду сыро.

Сидим на террасе, смотрим, как переливаются далеко на горизонте огоньки Сен-Жермена и Вирофле. Эта даль отсюда, с нашей высокой лесной горы, кажется океаном, и мы различаем фонарики мола, вспышки маяка, сигнальные свету кораблей. Иллюзия полная.

Тихо.

Через открытые двери салона слушаем последние тоскливо-страстные аккорды «Умиряющего лебедя», которые из какой-то нездешней страны принесло нам радио.

И снова тихо.

Сидим в полутьме, красным глазком подымается, вспыхивает огонек сигары.

– Что же мы молчим, словно Рокфеллер, переваривающий свой обед? Мы ведь не поставили рекорда дожить до ста лет, – сказал в полутьме баритон.

– А Рокфеллер молчит?

– Молчит полчаса после завтрака и полчаса после обеда. Начал молчать в сорок лет. Теперь ему девяносто три. И всегда приглашает гостей к обеду.

– Ну, а как же они?

– Тоже молчат.

– Эдакое дурачье!

– Почему?

– Потому что надеются. Если бы бедный человек вздумал молчать для пищеварения, все бы решили, что с таким дураком и знакомства водить нельзя. А кормит он их, наверное, какой-нибудь гигиенической морковкой?

– Ну конечно. При чем жует каждый кусок не меньше шестидесяти раз.

– Эдакий нахал!

– Поговорим лучше о чем-нибудь аппетитном. Петроний, расскажите нам какое-нибудь ваше приключение.

Сигара вспыхнула, и тот, кого здесь прозвали Петронием за гетры и галстуки в тон костюма, процедил ленивым голосом:

– Ну что ж, извольте. О чем?

– Что-нибудь о вечной любви, – звонко сказал женский голос. – Вы когда-нибудь встречали вечную любовь?

– Ну конечно. Только такую и встречал. Попадались все исключительно вечные.

– Да что вы! Неужели? Расскажите хоть один случай.

– Один случай? Их такое множество, что прямо выбрать трудно.

– И все вечные?

– Все вечные. Ну вот, например, могу вам рассказать одно маленькое вагонное приключение. Дело было, конечно, давно. О тех, которые были недавно, рассказывать не принято. Так вот, было это во времена доисторические, то есть до войны. Ехал я из Харькова в Москву. Ехать долго, скучно, но человек я добрый, пожалела меня судьба и послала на маленькой станции прехорошенькую спутницу. Смотрю – строгая, на меня не глядит, читает книжку, конфетки грызет. Ну, в конце концов все-таки разговорились. Очень, действительно, строгая оказалась дама. Чуть не с первой фразы объявила мне, что любит своего мужа вечной любовью, до гроба, аминь.

Ну что же, думаю, это знак хороший. Представьте себе, что вы в джунглях встречаете тигра. Вы дрогнули и усомнились в своем охотничьем искусстве и в своих силах. И вдруг тигр поджал хвост, залез за куст и глаза зажмурил. Значит, струсил. Ясно. Так вот, эта любовь до гроба и была тем кустом, за который моя дама сразу же спряталась.

Ну, раз боится, нужно действовать осторожно.

– Да, говорю, сударыня, верю и преклоняюсь. И для чего, скажите, нам жить, если не верить в вечную любовь? И какой ужас непостоянство в любви! Сегодня романчик с одной, завтра – с другой, уж не говоря о том, что это безнравственно, но прямо даже неприятно. Столько хлопот, передраг. То имя перепутаешь – а ведь они обидчивые все, эти «предметы любви». Назови нечаянно Манечку Сонечкой, так ведь такая начнется история, что жизни не рад будешь. Точно имя Софья хуже, чем Марья. А то адреса перепутаешь и благодаришь за восторги любви какую-нибудь дуру, которую два месяца не видел, а «новенькая» получает письмо, в котором говорится в сдержанных тонах о том, что, к сожалению, прошлого не вернуть. И вообще, все это ужасно, хотя я, мол, знаю, конечно, обо всем этом только понаслышке, так как сам способен только на вечную любовь, а вечная пока что еще не подвернулась.

Дама моя слушает, даже рот открыла. Прямо прелесть что за дама. Совсем приручилась, даже стала говорить «мы с вами»:

– Мы с вами понимаем, мы с вами верим...

Ну и я, конечно, «мы с вами», но все в самых почтительных тонах, глаза опущены, в голосе тихая нежность – словом, «работаю шестым номером».

К двенадцати часам перешел уже на номер восьмой, предложил вместе позавтракать.

За завтраком совсем уже подружились. Хотя одна беда – очень уж она много про мужа говорила, все «мой Коля, мой Коля», и никак ее с этой темы не свернешь. Я, конечно, всячески намекал, что он ее недостоин, но очень напирать не смел, потому что это всегда вызывает протесты, а протесты мне были не на руку.

Кстати, о руке – руку я у нее уже целовал вполне беспрепятственно, и сколько угодно, и как угодно.

И вот подъезжаем мы к Туле, и вдруг меня осенило:

– Слушайте, дорогая! Вылезем скорее, останемся до следующего поезда! Умоляю! Скорее!

Она растерялась.

– А что же мы тут будем делать?

– Как – что делать? – кричу я, весь в порыве вдохновения. – Поедем на могилу Толстого. Да, да! Священная обязанность каждого культурного человека.

– Эй, носильщик!

Она еще больше растерялась.

– Так, вы говорите... культурная обязанность... священного человека...

А сама тащит с полки картонку.

Только успели выскочить, поезд тронулся.

– Как же Коля? Ведь он же встречать выедет.

– А Коле, – говорю, – мы пошлем телеграмму, что вы приедете с ночным поездом.

– А вдруг он...

– Ну, есть о чем толковать! Он еще вас благодарить должен за такой красивый жест. Посетить могилу великого старца в дни общего безверия и ниспровержения столпов.

Посадил свою даму в буфете, пошел нанимать извозчика. Попросил носильщика договорить какого-нибудь получше лихача, что ли, чтоб приятно было прокатиться.

Носильщик ухмыльнулся.

– Понимаем, – говорит. – Потрафить можно.

И так, bestия, потрафил, что я даже ахнул: тройку с бубенцами, точно на Масленицу. Ну что ж, тем лучше. Поехали. Проехали Козлову Засеку, я ямщику говорю:

– Может, лучше бубенчики-то ваши подвязать? Неловко как-то с таким трезвоном. Все-таки ведь на могилу едем.

А он и ухом не ведет.

– Это, – говорит, – у нас без внимания. Запрету нет и наказу нет, кто как может, так и ездит.

Посмотрели на могилу, почитали на ограде надписи поклонников:

«Были Толя и Мура», «Были Сашка-Канашка и Абраша из Ростова», «Люблю Марью Сергеевну Абиносову. Евгений Лукин», «М. Д. и К. В. разбили харю Кузьме Вострухину».

Ну и разные рисунки – сердце, пронзенное стрелой, рожа с рогами, вензеля. Словом, почтили могилу великого писателя.

Мы посмотрели, обошли кругом и помчались назад.

До поезда было еще долго, не сидеть же на вокзале. Поехали в ресторан, я спросил отдельный кабинет: «Ну, к чему, говорю, нам показываться? Еще встретим знакомых, каких-нибудь недоразвившихся пошляков, не понимающих культурных запросов духа».

Провели время чудесно. А когда настала пора ехать на вокзал, дамочка моя говорит:

– На меня это паломничество произвело такое неизгладимое впечатление, что я непременно повторю его, и чем скорее, тем лучше.

– Дорогая! – закричал я. – Именно – чем скорее, тем лучше. Останемся до завтра, утром съездим в Ясную Поляну, а там и на поезд.

– А муж?

– А муж останется как таковой. Раз вы его любите вечной любовью, так не все ли равно? Ведь это же чувство непоколебимое.

– И, по-вашему, не надо Коле ничего говорить?

– Коле-то? Разумеется, Коле мы ничего не скажем. Зачем его беспокоить?

Рассказчик замолчал.

– Ну, и что же дальше? – спросил женский голос.

Рассказчик вздохнул.

– Ездили на могилу Толстого три дня подряд. Потом я пошел на почту и сам себе послал срочную телеграмму: «Владимир, возвращайся немедленно». Подпись: «Жена».

– Поверила?

– Поверила. Очень сердилась. Но я сказал: «Дорогая, кто лучше нас с тобой может оценить вечную любовь? Вот жена моя как раз любит меня вечной любовью. Будем уважать ее чувство». Вот и все.

– Пора спать, господа, – сказал кто-то.

– Нет, пусть еще кто-нибудь расскажет. Мадам Г-ч, может быть, вы что-нибудь знаете?

– Я? О вечной любви? Знаю маленькую историю. Совсем коротенькую. Был у меня на ферме голубь, и попросила я слугу моего, поляка, привезти для голубя голубку из Польши. Он привез. Вывела голубка птенчиков и улетела. Ее поймали. Она снова улетела – видно, тосковала по родине. Бросила своего голубя.

– Tout comme cher vous², – вставил кто-то из слушателей.

– Бросила голубя и двух птенцов. Голубь стал сам греть их. Но было холодно, зима, а крылья у голубя короче, чем у голубки. Птенцы замерзли. Мы их выкинули. А голубь десять дней корму не ел, ослабел, упал с шеста. Утром нашли его на полу мертвым. Вот и все.

– Вот и все? Ну, пойдемте спать.

– Н-да, – сказал кто-то, зевая. – Эта птица – насекомое, то есть я хотел сказать – низшее животное. Она же не может рассуждать и живет низшими инстинктами. Какими-то там рефлексам. Их теперь ученые изучают, эти рефлексы, и будут всех лечить, и никакой любовной тоски, умирающих лебедей и безумных голубей не будет. Будут все, как Рокфеллеры, жевать шестьдесят раз, молчать и жить до ста лет. Правда – чудесно?

² Все как у нас (фр.). – Ред.

Любовь и весна (Рассказ Гули Бучинской)

Она показывала мне свои альбомы и целые пачки любительских снимков.

Считается почему-то, что гостям очень весело рассматривать группу незнакомых теток на дачном балконе.

– А кто этот мальчик?

– Это не мальчик. Это я.

– А эта старуха кто?

– Это тоже я.

– А это что за собачка?

– Где? Это? Гм... Да ведь это тоже я.

– А почему же хвост?

– Подожди... Это не мой хвост. Хвост это вот от этой дамы. Это одна известная певица.

– Так почему же, если певица, так ей полагается быть с хвостом?

– Гм... Не совсем удачная фотография. Такое освещение. А вот старые снимки. Довоенные. Эту особу знаешь?

Особа была лет десяти, с веселыми ямочками, с белокурыми косичками, в форменном платье с широким белым воротником.

– Да это как будто ты?

– Ну, конечно, я.

Она долго смотрела на свой портретик, потом засмеялась и сказала:

– Этот портрет относится к периоду моего самого интересного романа. Моей первой любви.

– Да ведь тебе тут лет десять-одиннадцать.

– Ну да.

– Как же это я не знала. Расскажи, пожалуйста. Ведь ты тогда была в лице.

– Вот, вот. Ужасный роман. У нас, видишь ли, образовался особый клуб. Не в нашем классе, а у больших, там, где были девочки уже лет четырнадцати-пятнадцати. Не помню сейчас, в чем там было дело, но главное, что все члены клуба должны были быть непременно влюблены. Невлюбленных не принимали. А у меня, в этом классе у старших, была приятельница, Зося Яницкая. Она меня очень уважала, несмотря на то, что я была маленькая. А уважала она меня за то, что я очень много читала, и, главное, за то, что писала стихи. У них в классе никто не умел сочинять стихи.

Вот она переговорила со своими подругами и рекомендовала меня. Те, узнав про стихи, сразу согласились, но, конечно, спросили – влюблена ли эта Зу и в кого?

Тут мне пришлось признаться, что я не влюблена. Как быть?

Я бы, конечно, могла наскоро в кого-нибудь влюбиться, но я была в лицее живущей и ни одного мальчика не знала.

Зося очень огорчилась. Это было серьезное препятствие. А она меня любила и гордилась мной.

И вот придумала она прямо гениальную штуку. Она предложила мне влюбиться в ее брата. Брат ее, гимназист, молодчина, совсем взрослый – ему скоро будет тринадцать.

– Да ведь я же его никогда не видала!

– Ничего. Я его тебе покажу в окно.

Пансион у нас был очень строгий, вроде монастыря. В окошко смотреть было запрещено и считалось даже грехом. Но старшие девочки ухитрились в четыре часа, когда из соседней гимназии мальчики шли домой, подбегать к окошку, конечно, поставив у дверей сигнальщика.

Сигнальщик, одна из девочек по очереди, в случае опасности должна была петь «Аве Марию» Гуно.

И вот на следующий же день прибежала за мной Зося и потащила к окну.

– Смотри скорей! Вот они идут. Вот и он, Юрек. – У меня сердце колотилось так, что даже в ушах звенело.

– Который? Который?

– Да вон этот, круглый!

Смотрю – действительно один из мальчиков ужасно какой круглый – ну совсем яблоко.

Мне как-то в первую минуту больно стало, что нужно любить такого круглого. А Зося говорит:

– Ты согласна?

Ну что делать? Я говорю:

– Да.

А Зося обрадовалась.

– Я, – говорит, – сегодня же вечером спрошу, согласен ли он в тебя влюбиться, потому что в нашем клубе требуется, чтобы любовь была взаимна.

На другой день отзывает меня Зося в угол и рассказывает, как она предложила Юреку в меня влюбиться. Он сначала спросил Зося: «А что я от тебя за это получу?» Но Зося ему объяснила, что это надо сделать совершенно даром, и рассказала ему про клуб. Тогда он спросил: «Это какая же Зу? Это та, что с абажуром на шее?»

Поломался немножко, но, впрочем, в конце концов согласился влюбиться.

Мне было очень неприятно, что мой чудесный воротник, которому многие девочки завидовали, он назвал абажуром, но из-за такого пустяка разбивать и свое, и его сердце было бы глупо.

Итак – начался роман.

Каждый день в четыре часа я вместе с другими героинями бежала к окну и махала платком. На мое приветствие оборачивалось круглое лицо, и видно было, как оно вздыхает.

Потом Зося принесла мне открытку, которую Юрек сам для меня нарисовал и раскрасил. Открытка очень взволновала меня, хотя на ней и были изображены просто-напросто гуси. Я даже спросила Зося – почему именно гуси? Зося ответила, что это оттого, что они ему очень хорошо удаются.

В ответ на гусей я послала ему стихи. Не совсем свежие – я их уже несколько месяцев писала в альбом подругам. Но они ведь от этого хуже не стали.

Когда весною ландыши цветут,
Мне мысли грустные идут,
И вспоминаю я всегда
О днях, когда была я молода.

И вот дня через два передала мне Зося стихи от Юрека. Стихи были длинные. Тогда была мода на декадентов, и он, конечно, просто перекатал их из какого-нибудь журнала. Стихи были непонятные, и слова в них были совсем ужасные. Читала я, спрятавшись в умывалку, Зося стояла на часах. Я как только прочла, так сейчас же разорвала бумагу на мелкие кусочки, кусочки закрутила катышем и выбросила в форточку.

От стихов в голове стало совсем худо и даже страшно. Ухватила я только одну фразу, но и того было довольно, чтобы прийти в ужас. Фраза была:

Я как больной сатана
Влекусь к тебе!

Больной сатана! Такой круглый – и вдруг оказывается больной сатана! Это сочетание было такое страшное, что я схватила Зося за шею и заревела.

В четыре часа не пошла к окошку. Боялась взглянуть на больного сатану.

Был у меня маленький медальончик, золотой с голубыми камешками. Вот я пробралась потихоньку в нашу часовенку и повесила этот медальончик Мадонне на руку. За больного сатану. Так и помолилась: «Спаси и помилуй больного сатану».

Настроение у меня было ужасное. Чувствовала и понимала, что погрязла в грехе. Во-первых, смотрела в окно, что само по себе уже грех, во-вторых, влюбилась, что грех уже серьезный и необычайный, и, наконец, этот ужас с больным сатаной. Такой страшный объект для любви!

А тут как раз наступил пост и моя первая исповедь.

У нас девочки всегда записывали на бумажке свои грехи, чтоб чего-нибудь не забыть. Грехи записывались свои, чужие – то есть те, которые знала, да не донесла, а покрыла и, так сказать, сделалась как бы соучастницей. Затем грехи обычные и, наконец, тяжкие.

Я все записала, как другие, а в последний момент записочку-то и потеряла.

Можете себе представить мое состояние? И без того-то в душе ужас, хаос, отчаяние, а тут еще грехи потеряла.

А храм у нас был старый, черный, с колоннами. Черные огромные ангелы нагнулись и трубят в трубы. А в узкое узорное окно стучат дождевые капли и текут по стеклу слезами.

И надо будет сказать старому строгому кюре о моем страшном грехе. И он не простит меня, ни за что не простит, и закачаются колонны, и затрубят черные ангелы, и рухнут своды.

– Будь проклята, черная грешница!

И вот я у окошечка. Рассказываю дрожащим голосом о том, как лгала, как украла у Галюси чудную новую резинку, маленькую, круглую. Потом вернула. Как люблю сладкое, как ленюсь. Ах, все это пустяки. Я не ребенок, я отлично понимаю, что сам кюре позавидовал бы такой резинке. Все это вздор и мелочи. Главное впереди.

– У меня есть страшный грех.

– Какой, деточка?

Лечу в пропасть. Закрываю глаза.

– Я влюблена.

Он ничего, спокоен.

– В кого же?

Шепчу:

– В Юрека.

– Что же это за Юрек?

– Он Зосин брат. Он очень взрослый. Ему скоро тринадцать.

– Вот как! А где же ты с ним видишься?

– А я совсем не вижу. Я в окно.

Он ничего, только брови поднял.

– Вот, – говорит, – деточка, как нехорошо. Вам ведь запрещено в окошко смотреть. Надо слушаться.

Я все жду, когда же он рассердится. А он говорит:

– Ну вот, больше в окошко не смотри, а помолись Богу, чтобы Юрек был здоров и хорошо учился.

Только и всего!

И вдруг весь мой страшный грех показался мне таким пустяком, и вся история с Юреком такой ерундой, а сам Юрек смешным, круглым мальчиком. И вспомнились разные унижительные для героя штуки, которые рассказывала Зося и которые я инстинктивно пропускала мимо

ушей. Как Юрек боится темной комнаты, и как ревел, когда был у дантиста, и как съедает по три тарелки макарон со сметаной.

«Ну, – думаю, – дура я, дура! И чего я так мучилась».

На другой день побежала в четыре часа к окошку. Вижу – ждет.

Я скорчила самую безобразную рожу, высунула язык, повернулась спиной и ушла.

– Зося, – говорю. – Я твоему брату дала отставку. Пусть так и знает.

На другой день приходит Зося в школу страшно расстроенная.

– Ты, – говорит, – сама не знаешь, что ты наделала! Юрек говорит, что ты его оскорбила и что он, как дворянин, не перенесет позора.

Я безумно испугалась.

– Что же он сделает?

– Не знаю. Но он в ужасном состоянии.

Как быть? Неужели застрелится?

Я надену длинное черное платье и всю жизнь буду бледна. А самое лучшее сейчас же пойти в монастырь и сделаться святой.

Напишу ему прощальное письмо. В стихах. Он тогда стреляться не будет. Со святой взятки гладки.

Стала сочинять.

Средь ангелов на небе голубом
Я помнить буду о тебе одном.

Не успела я записать эти строки, как вдруг – цоп меня за плечо. Мадемуазель! Наша строгая классная дама.

– Что ты там пишешь, дитя мое?

Я крепко зажала бумажку в кулак.

– Я тебя спрашиваю, что ты такое пишешь? Покажи мне.

– Ни за что!

Она поджала губы, раздула ноздри.

– Почему?

– Потому что это моя личная корреспонденция. – Очевидно, я где-то слышала такое великолепное официальное выражение, оно у меня и выскочило – к моему собственному удивлению.

– Ах, вот как!

Она схватила меня за руку, я руку вырвала. Она поняла, что ей со мной не справиться.

– Петр!

Петр был сторож, звонил часы уроков, подметал классные комнаты.

– Петр! Сюда! Возьмите у барышни записку, которая у нее в кулаке.

Петр шмыгнул носом и решительно направился ко мне.

Тут я гордо вскинула голову и швырнула смятую бумажку на пол:

– С мужиком я драться не стану! – Повернулась и вышла.

Девочки разъехались. Меня на праздники непустили. Я наказана. И то еще хорошо. Собирались вообще выгнать из лицея за дерзкое поведение и безнравственное стихотворение.

Я сидела у окна и писала сочинение, которое в наказание задала мне классная дама.

Сочинение о весне.

Праздничный благовест лился в окно. Пух цветущих деревьев летел и кружился в воздухе. Щebetали веселые птицы, и пахло водой, и медом, и молодой весенней землей.

«Весна», – написала я.

И крупная слеза капнула, и расплылось чернило моей «Весны».

Я обвела кляксу кружочком и стала разрисовывать сиянием.

И, не правда ли, она, эта моя весна, заслужила сияние? Ведь она у меня так и осталась в нимбе моей памяти, как видите – на всю жизнь.

«Весна».

Жених

По вечерам, возвратясь со службы, Бульбезов любил позаняться. Занятие у него было особое: он писал обличающие письма либо в редакцию какой-нибудь газеты, либо прямо самому автору не угодившей ему статьи. Писал грозно.

«Милостивый государь!

Имел вчера неудовольствие прочесть вашу очередную брехню. В вашем «историческом» очерке вы пишете: «От слов Дантона словно электрический ток пробежал по собранию».

Спешу довести до вашего сведения, что во время Французской революции электричество еще не было открыто, так что электрический ток никак не мог пробежать. Это не мешало бы вам знать, раз вы имеете дерзость и самомнение братья за перо и всех поучать.

Илья Б —».

Или такое:

«Милостивый государь, господин редактор!

Обратите внимание на статьи вашего научного обозревателя. В номере шестьдесят втором вашей уважаемой газеты сей развязный субъект со свойственной ему беззастенчивостью рассуждает о разуме муравья. Но где же в таком случае у муравья череп? Я лично такого не видал, хотя и приходилось жить в деревне. Все это противоречит здравому смыслу.

Читатель, но не почитатель.

Илья Б —».

Доставалось от него не только современным писателям, но и классикам.

«Милостивый государь, господин редактор, — писал он. — Разрешите через посредство вашей уважаемой газеты обратить внимание общественного мнения на писания прославленного Льва Толстого. В своем сочинении «Война и мир», во второй части, в главе четвертой, знаменитый граф пишет:

«Алпатыч, приехав вечером 4-го августа в Смоленск, остановился за Днепром в Гаченском предместье на постоялом дворе, у дворника Ферапонтова, у которого он уже тридцать лет имел привычку останавливаться. Ферапонтов тридцать лет тому назад, с легкой руки Алпатыча, купив рощу у князя, начал торговать и теперь имел дом, постоялый двор и мучную лавку в губернии. Ферапонтов был толстый, черный, красный, сорокалетний мужик, с толстыми губами и т. д.».

Итак — заметьте: сорокалетний мужик тридцать лет тому назад купил рощу и начал торговать. Значит, мужику было тогда ровно десять лет. Считаю это клеветой на русский народ. И почему если это выдумал граф Толстой, то все должны преклоняться, а если так напишет какой-нибудь неграф и нелев, так его и печатать не станут.

*Это недемократично.
И. Б.».*

Письма эти тщательно переписывались, причем копию Бульбезов оставлял себе, нумеровал и прятал.

К занятиям своим относился он очень серьезно и никогда не позволял себе потратить вечер на синема или кафе, как делают это всякие лодыри.

– Пока есть силы работать – работаю.

Как это случилось – неизвестно.

Уж не весна ли навеяла эти странные мысли?

Впрочем, пожалуй, весна здесь ни при чем.

Потому что, если бы весна, то, конечно, любовался бы Бульбезов на распускающиеся деревья, на целующиеся под этими деревьями парочки, на букетики первых фиалок, предлагаемых хриплыми голосами густо налитых красным вином парижских старух. Наконец, из окна его комнаты, если открыть его и перегнуться вправо – можно было увидеть луну, что для влюбленных всегда отрадно. Но Бульбезов окна не открывал и не перегибался. Бульбезову не было до луны буквально никакого дела.

Началось дело не с луны, и не с цветов, и вообще не с пустяков. Началось дело с оборванной пуговицы на жилетке и продолжилось дело дырой на колене, то есть не на самом колене, а на платье, его обтягивающем и покрывающем. Короче говоря – на штанине.

И кончилось дело решением. Решением – вы думаете пришить да заштопать? Вот, подумаешь, было бы тогда чем расписывать.

Жениться задумал Бульбезов. Вот что.

И как только задумал, сразу же по прямой нити от пуговицы дотянулась мысль его до иголки, зацепила мысль руку, держащую эту иголку, и уперлась в шею, в Марию Сергеевну Утину.

«Жениться на Утиной».

Молода, мила, приятна, работает, шьет, все пришьет, все зашьет.

И тут Бульбезов даже удивился – как это ему раньше не пришла в голову такая мысль? Ведь если бы он раньше додумался, теперь бы пуговица сидела на месте, и сам бы он сидел на месте, и не надо было бы тащиться к этой самой Утиной, объясняться в чувствах, а сидела бы эта самая Утина тоже здесь и следила бы любящими глазами, как он работает.

Откладывать было бы глупо.

Он переменял воротничок, пригладился, долго и с большим удовольствием рассматривал в зеркало свой крупный щербатый нос, провалившиеся щеки и покрытый гусиной кожей кадык.

Впрочем, ничего не было в этом удовольствии удивительного. Большинство мужчин получает от зеркала очень приятные впечатления. Женщина, та всегда чем-то мучается, на что-то ропщет, что-то поправляет. То подавай ей длинные ресницы, то зачем у нее рот не пуговкой, то надо волосы позолотить. Все чего-то хлопочет. Мужчина взглянет, повернется чуть-чуть в профиль – и готов. Доволен. Ни о чем не мечтает, ни о чем не жалеет.

Но не будем отвлекаться.

Полюбовавшись на себя и взяв чистый платок, Бульбезов решительным шагом направился по Камбронной улице к Вожирару.

Вечерело.

По тротуару толкались прохожие, усталые и озабоченные.

Ажан гнал с улицы старую цветочницу. Острым буравчиком ввинчивался в воздух звонок кинематографа.

Бульбезов свернул за изгнанной цветочницей и купил ветку мимозы.

«С цветами легче наладить разговор».

Винтовая лестница отельчика пахла съедобными запахами, рыбьими, капустными и луковыми. За каждой дверью звякали ложки и брякали тарелки.

– Антре! – ответил на стук голос Марьи Сергеевны.

Когда он вошел, она вскочила, быстро сунула в шкаф какую-то чашку и вытерла рот.

– Да вы не стесняйтесь, пожалуйста, я, кажется, помешал, – светским тоном начал Бульбезов и протянул ей мимозу: – Вот!

Марья Сергеевна взяла цветы, покраснела и стала поправлять волосы. Она была пухленькая, с пушистыми кудерьками, курносенькая, очень приятная.

– Ну, к чему это вы! – смущенно пробормотала она и несколько раз метнула на Бульбезова удивленным лукавым глазком. – Садитесь, пожалуйста. Простите, здесь все разбросано. Масса работы. Подождите, я сейчас свет зажгу.

Бульбезов, совсем уж было наладивший комплимент («Вы, знаете ли, так прелестны, что вот не утерпел и прибежал»), вдруг насторожился.

– Как это вы изволили выразиться? Что это вы сказали?

– Я? – удивилась Марья Сергеевна. – Я сказала, что сейчас свет зажгу. А что?

И, подойдя к двери, повернула выключатель от верхней лампы. Повернула и, залитая светом, кокетливо подняла голову.

– Виноват, – сухо сказал Бульбезов. – Я думал, что ослышался, но вы снова и, по-видимому, вполне сознательно повторили ту же нелепость.

– Что? – растерялась Марья Сергеевна.

– Вы сказали: «Я зажгу свет». Как можно, хотел бы я знать, зажечь свет? Вы можете зажечь лампу, свечу, наконец, спичку. И тогда будет свет. Но как вы будете зажигать свет? Поднесете к огню зажженную спичку, что ли? Ха-ха! Нет, это мне нравится! Зажечь свет!

– Ну чего вы привязались? – обиженно надув губы, проворчала Марья Сергеевна. – Все так говорят, и никто никогда не удивлялся.

Бульбезов от негодования встал во весь рост и выпрямился. И, выпрямившись, оказался на уровне прикрепленного над умывальником зеркала, в котором и отразилось его пламенеющее негодованием лицо.

На секунду он приостановился, заинтересованный этой великолепной картиной. Посмотрел прямо, посмотрел, скосив глаза, в профиль, вдохновился и воскликнул:

– «Все говорят»! Какой ужас слышать такую фразу! Или вы действительно считаете осмысленным все, что вы все делаете? Это поражает меня. Скажу больше – это оскорбляет меня. Вы, которую я выбрал и отметил, оказываетесь тесно спаянной со «всеми»! Спасибо. Очень умно то, что вы все делаете! Вы теперь наострили лыжи на стратосферу. Вам, изволите ли видеть, нужны какие-то собачьи измерения на высоте ста километров. А тут-то вы, на земле, на своей собственной земле, – все измерили? Что вы знаете хотя бы об электричестве? Затвердили как попугай, «анод и катод, а посередине искра». А знаете вы, что такое катод?

– Да отвяжитесь вы от меня! – визгнула Марья Сергеевна. – Когда я к вам с катодом лезла? Никаких я и не знаю, и знать не хочу.

– Вы и вам подобные, – гремел Бульбезов, – стремятся на Луну и на Марс. А изучили вы среднее течение Амазонки? Изучили вы Центральную Африку с ее непроходимыми дебрями?

– Да на что мне эти дебри? Жила без дебрей и проживу! – кричала в ответ Марья Сергеевна.

– Умеете вы вылечивать туберкулез? Нашли вы бациллу рака? – не слушая ее, неистовствовал Бульбезов. – Вам нужна стратосфера? Шиш вы получите от вашей стратосферы, свиные собачьи, неучи!

– Нахал! Скандалист! – надрывалась Марья Сергеевна. – Вон отсюда! Вон! Сейчас консержку кликну...

– И уйду. И жалею, что пришел. Тля!

Он машинально схватил ветку мимозы, которая так и оставалась на столе, и, согнув пополам, ткнул ее в карман пальто.

– Тля! – повторил он еще раз и, кинув быстрый взгляд в зеркало, пощупал, тут ли мимоза, демонстративно повернулся спиной к хозяйке и вышел.

Марья Сергеевна долго смотрела ему вслед и хлопала глазами.

Атмосфера любви

Начало той истории, которую я хочу вам рассказать, довольно банально: дама позвала к себе в гости тех людей, которые, по ее мнению, ее любят и поэтому никаких неприятных моментов ей не доставят.

Собрать таких людей, между прочим, вовсе не так-то просто. Ну, вот вы, например, знаете, что такой-то Иван Андреевич очень многим вам обязан, но чувствует ли он к вам благодарность – это еще вопрос. Может быть, именно терпеть вас не может за то, что многим вам обязан? Разве этого не бывает?

И вот та дама, о которой идет речь, долго обдумывала и решила, что позвать можно только тех, кто отдал ей когда-то кусок души. Человек никогда не забывает того места, где зарыл когда-то кусочек души. Он часто возвращается, кружит около, пробует, как зверь лапой, поскрести немножко сверху.

Это, впрочем, касается скорее мужчин. Женщины – существа неблагодарные. Человека, который от них отошел, редко вспоминают тепло. О том, с которым прожили лет пять и прижили троих детей, могут отзываться примерно так:

– И этот болван, кажется, воображал, что я способна на близость с ним!

Мужчины относятся благодарнее к светлой памяти прошедшего романа.

Итак, дама, о которой идет речь, решила пригласить четырех кавалеров. Двое из них принадлежали ее прошлому, один настоящему и один будущему.

Первый из принадлежащих прошлому был не кто иной, как разведенный муж этой самой дамы. Когда-то он очень страдал, потом переключил страдание на безоблачную дружбу, женился и, когда новая жена надоела, опять переключился на умиленную любовь к прежней жене. Выражалось это в том, что он приходил к ней иногда завтракать и дарил ей десятую часть на Национальную лотерею. Звали его Андреем Андреичем.

Второй из прошлой жизни был тот, из-за которого пришлось развестись. Он был давно переключен на дружбу, однако полную обожания и благодарности за незабываемые страницы – конечно, с его стороны. Его приглашали в дождливую погоду для тихих разговоров и чтения вслух. Он умел красиво говорить, он играл на гитаре, вздыхал и брал займы небольшие суммы. Звали его Сергей Николаич.

Принадлежащий настоящему был Алексей Петрович. Как и полагается герою текущего романа, он был подозрителен, ревнив, всегда встревожен, всегда готов закатить скандал. Словом – в его чувстве сомнений быть не могло.

Человек будущего был дансер Вовочка. Вовочка еще был в стадии мечтаний и желаний, в эпохе комплиментов и моментов. Он был чрезвычайно мил.

Словом, вся компания, весь мажорный аккорд из четырех нот обещал быть приятным, радостным, поднимающим настроение и дающим сознание своих женственных сил. А у каждой женщины известных лет (которые вернее было бы называть «неизвестными») бывают такие настроения, когда нужно поднять бодрость духа. А ничто ж не поднимает этот упавший дух, как атмосфера любви. Чувствовать, как тобой любят, как следят за каждым твоим движением влюбленные глаза, тогда все в чуткой женской душе – прибавленные за последние дни два кило веса и замеченные морщины в углах рта – исчезают, выпрямляются плечи, загораются глаза, и женщина смело начинает смотреть в свое будущее, которое сидит тут же, подпрыгивает ногой и курит папироску.

Итак, дама, о которой идет речь, – звали даму Марья Артемьевна, – пригласила этих четырех кавалеров к обеду.

Первым пришел олицетворяющий настоящее – Алексей Петрович. Узнав, кто еще приглашен, выразил на лице своем явное неодобрение.

– Странная идея! – сказал он. – Неужели эти люди могут представить какой-нибудь интерес в обществе? Впрочем, это дело ваше.

Он стал задумчив и мрачен, и только имя Вовочки вызвало на лице его улыбку.

– Милый молодой человек. И вполне серьезный, несмотря на свою профессию.

Марья Артемьевна немножко как будто удивилась, но удивления своего не выказала.

Словом, все обещало идти как по маслу и началось действительно хорошо.

Бывший муж принес конфеты. Это было так мило, что она невольно шепнула ему:

– Мерси, котик.

Второй представитель прошлого, Сергей Николаич, принес фиалки, и это было так нежно, что она и ему невольно шепнула:

– Мерси, котик.

Вовочка ничего не принес и так мило сконфузился, видя эти подарки, что она от разнеженности чувств шепнула и ему тоже:

– Мерси, котик.

Ну, словом, все было прелестно.

Конечно, Андрей Андреич покосился на фиалки Сергея Николаича, но это было вполне естественно. А Сергея Николаича покорило от конфет Андрея Андреича – и это было вполне понятно. Разумеется, Алексею Петровичу были неприятны и цветы и конфеты – но это вполне законно. Вовочка надулся – но это так забавно!

Пустяки – пусть поревнуют. Тем веселее, тем ярче.

Она чувствовала себя веселой пчелкой, королевой улья среди гудящих любовью трутней.

Сели за стол.

Зеленые щи с ватрушками. Коньяк, водка. Все разогрелись, разговорились.

Марья Артемьевна, розовая, оживленная, думала:

«Какая чудесная была у меня мысль позвать именно этих испытанных друзей. Все они любят меня и ревнуют, и это общее их чувство ко мне соединяет их между собой».

– А ватрушки сыроваты, – вдруг заметил Алексей Петрович, представитель настоящего, и даже многозначительно поднял брови.

– Н-да! – добродушно подхватил бывший муж. – Ты, Манюбочка, уж не обижайся, а хозяйка ты никакая.

– Ну-ну, нечего, – весело остановила их Марья Артемьевна. – Все они не так плохи. Я ем с большим удовольствием.

– Ну, это еще ничего не значит, что вы едите с удовольствием, – довольно раздраженно вступил в разговор Сергей Николаич, тот самый, из-за которого произошел развод. – Вы никогда не отличались ни вкусом, ни разборчивостью.

– Женщины вообще, – вдруг вступил в разговор Вовочка, запнулся, покраснел и смолк.

– Ну, господа, какие вы, право, все сердитые! – рассмеялась Марья Артемьевна.

Ей хотелось поскорее оборвать этот нудный разговор, наладить снова нежно-уютную атмосферу. Но не тут-то было.

– Мы сердитые? – спросил бывший муж. – Обычная женская манера сваливать свою вину на других. Подала сырое тесто она, а виноваты мы. Мы, оказывается, сердитые.

Но Марья Артемьевна все еще не хотела сдаваться.

– Вовочка, – сказала она, кокетливо улыбаясь представителю будущего. – Вовочка, неужели и вы скажете, что мои ватрушки нельзя есть?

Вовочка под влиянием этой нежной улыбки уже начал было и сам улыбаться, как вдруг раздался голос Алексея Петровича:

– Мосье Вовочка слишком хорошо воспитан, чтобы ответить вам правду. С другой стороны, он слишком культурен, чтобы есть эту ужасную стряпню. Надеюсь, дорогая моя, вы не обижаетесь?

Вовочка нахмурился, чтобы показать сложность своего положения. Марья Артемьевна заискивающе улыбнулась всем по очереди, и обед продолжался.

– Ну вот, – бодро и весело говорила она. – Надеюсь, что этот матлот из угрей заставит вас забыть о ватрушках.

Она снова кокетливо улыбалась, но на нее уже никто не обращал внимания. Бывший муж заговорил с Алексеем Петровичем о банковских делах. Разговор их заинтересовал Сергея Николаича так сильно, что хозяйке пришлось два раза спросить у него, не хочет ли он салата. В первый раз он ничего не ответил, а на второй вопрос буркнул:

– Да ладно, отстань!

Эту неожиданную реплику услышал Вовочка, покраснел и надулся.

Марья Артемьевна почувствовала, что ее будущее в опасности.

– Вовочка, – тихонько сказала она, – вам нравится мое жабо? Я его надела для вас.

Вовочка чуть-чуть покосился на жабо, буркнул:

– Толстит шею.

И отвернулся.

Ничего нельзя было с ним поделать.

А те трое окончательно сдружились. Хозяйка совершенно перестала для них существовать. На ее вопросы и потчеванье они не обращали никакого внимания, и раз только бывший муж спросил, нет ли у нее минеральной воды, причем назвал ее почему-то Сонечкой и даже сам этого не заметил.

Они, эти трое, давно уже съехали с разговора о банковских делах на политику и очень сошлись во взглядах. Только раз скользнуло маленькое разногласие – Андрей Андреич слышал от одного француза, что большевики падут в сентябре, а Сергей Николаич знал сам от себя, что они должны были пасть еще в прошлом марте, но по небрежности и безалаберности, конечно, запоздали.

С политики переехали на анекдоты, которые рассказывали друг другу на ухо и долго громко хохотали.

Потом им надоело шептаться, и Андрей Андреич сказал Марье Артемьевне:

– А вы, душечка, пошли бы на кухню и присмотрели бы за кофе, а то выйдет, как с ватрушками. А мы бы здесь пока поговорили. Удивляюсь, как вы сами никогда ни о чем не догадываетесь.

И все на эти слова одобрительно загоготали.

Марья Артемьевна, очень обиженная, ушла в спальню и чуть-чуть всплакнула.

Когда она вернулась в столовую, оказалось, что гости уже встали и, отказавшись от кофе, куда-то очень заторопились.

– Мы хотим еще пройти на Монпарнас, куда-нибудь в кафе, подышать воздухом, – холодно объяснил хозяйке Алексей Петрович и глядел куда-то мимо нее.

Весело и громко разговаривая, стали они спускаться с лестницы.

– Вовочка! – почти с отчаянием остановила Марья Артемьевна своего дансера. – Вовочка, еще рано! Оставайтесь!

Но Вовочка криво усмехнулся и пробормотал:

– Простите, Марья Артемьевна, было бы неловко перед вашими мужьями.

И бросился вприпрыжку вниз по лестнице.

Виртуоз чувства

Всего интереснее в этом человеке – его осанка.

Он высок, худ, на вытянутой шее голая орлиная голова. Он ходит в толпе, раздвинув локти, чуть покачиваясь в талии и гордо озираясь. А так как при этом он бывает обыкновенно выше всех, то и кажется, будто он сидит верхом на лошади.

Живет он в эмиграции на какие-то «крохи», но, в общем, недурно и аккуратно. Нанимает комнату с правом пользования салончиком и кухней и любит сам готовить особые тушеные макароны, сильно поражающие воображение любимых им женщин.

Фамилия его Гутбрехт.

Лизочка познакомилась с ним на банкете в пользу «культурных начинаний и продолжений».

Он ее, видимо, наметил еще до рассаживания по местам. Она ясно видела, как он, прогарцевав мимо нее раза три на невидимой лошади, дал шпоры и поскакал к распорядителю и что-то толковал ему, указывая на нее, Лизочку. Потом оба они, и всадник и распорядитель, долго рассматривали разложенные по тарелкам билетки с фамилиями, что-то там помудрили, и в конце концов Лизочка оказалась соседкой Гутбрехта.

Гутбрехт сразу, что называется, взял быка за рога, то есть сжал Лизочкину руку около локтя и сказал ей с тихим упреком:

– Дорогая! Ну, почему же? Ну, почему же нет?

При этом глаза у него заволоклись снизу петушиной пленкой, так что Лизочка даже испугалась. Но пугаться было нечего. Это прием, известный у Гутбрехта под названием «номер пятый» («работаю номером пятым»), назывался среди его друзей просто «тухлые глаза».

– Смотрите! Гут уже пустил в ход тухлые глаза!

Он, впрочем, мгновенно выпустил Лизочкину руку и сказал уже спокойным тоном светского человека:

– Начнем мы, конечно, с селедочки.

И вдруг снова сделал тухлые глаза и прошептал сладострастным шепотом:

– Боже, как она хороша!

И Лизочка не поняла, к кому это относится – к ней или к селедке, и от смущения не могла есть. Потом начался разговор.

– Когда мы с вами поедим на Капри, я покажу вам поразительную собачью пещеру.

Лизочка трепетала. Почему она должна с ним ехать на Капри? Какой удивительный этот господин!

Наискосок от нее сидела высокая полная дама, кариатидного типа. Красивая, величественная.

Чтобы отвести разговор от собачьей пещеры, Лизочка похвалила даму:

– Правда, какая интересная?

Гутбрехт презрительно повернул свою голую голову, так же презрительно отвернул и сказал:

– Ничего себе мордашка.

Это «мордашка» так удивительно не подходило к величественному профилю дамы, что Лизочка даже засмеялась.

Он поджал губы бантиком и вдруг заморгал, как обиженный ребенок. Это называлось у него «сделать мусеньку».

– Детка! Вы смеетесь над Вовочкой!

– Какой Вовочкой? – удивилась Лизочка.

– Надо мной! Я Вовочка! – надув губки, капризничала орлиная голова.

– Какой вы странный! – удивлялась Лизочка. – Вы же старый, а жантильничаете, как маленький.

– Мне пятьдесят лет! – строго сказал Гутбрехт и покраснел. Он обиделся.

– Ну да, я же и говорю, что вы старый! – искренне недоумевала Лизочка.

Недоумевал и Гутбрехт. Он сбавил себе шесть лет и думал, что «пятьдесят» звучит очень молодо.

– Голубчик, – сказал он и вдруг перешел на «ты». – Голубчик, ты глубоко проницательна. Если бы у меня было больше времени, я бы занялся твоим развитием.

– Почему вы вдруг говор... – попробовала возмутиться Лизочка. Но он ее прервал:

– Молчи. Нас никто не слышит. – И прибавил шепотом:

– Я сам защищу тебя от злословия.

«Уж скорее бы кончился этот обед!» – думала Лизочка. Но тут заговорил какой-то оратор, и Гутбрехт притих.

– Я живу странной, но глубокой жизнью! – сказал он, когда оратор смолк. – Я посвятил себя психоанализу женской любви. Это сложно и кропотливо. Я производжу эксперименты, классифицирую, делаю выводы. Много неожиданного и интересного. Вы, конечно, знаете Анну Петровну? Жену нашего известного деятеля?

– Конечно, знаю, – отвечала Лизочка. – Очень почтенная дама.

Гутбрехт усмехнулся и, раздвинув локти, погарцевал на месте.

– Так вот эта самая почтенная дама – это такой бесенок! Дьявольский темперамент. На днях пришла она ко мне по делу. Я передал ей деловые бумаги и вдруг, не давая ей опомниться, схватил ее за плечи и впился губами в ее губы. И если бы вы только знали, что с ней случилось! Она почти потеряла сознание! Совершенно не помня себя, она закатила мне плюху и выскочила из комнаты. На другой день я должен был зайти к ней по делу. Она меня не приняла. Вы понимаете? Она не ручается за себя. Вы не можете себе представить, как интересны такие психологические эксперименты. Я не Дон-Жуан. Нет. Я тоньше! Одухотвореннее. Я виртуоз чувства! Вы знаете Веру Экс? Эту гордую, холодную красавицу?

– Конечно, знаю. Видала.

– Ну, так вот. Недавно я решил разбудить эту мраморную Галатею! Случай скоро представился, и я добился своего.

– Да что вы! – удивилась Лизочка. – Неужели? Так зачем же вы об этом рассказываете? Разве можно рассказывать!

– От вас у меня нет тайн. Я ведь и не увлекался ею ни одной минуты. Это был холодный и жестокий эксперимент. Но это настолько любопытно, что я хочу рассказать вам все. Между нами не должно быть тайн. Так вот. Это было вечером, у нее в доме. Я был приглашен обедать в первый раз. Там был, в числе прочих, этот верзила Сток или Строк, что-то в этом роде. О нем еще говорили, будто у него роман с Верой Экс. Ну, да это ни на чем не основанные сплетни. Она холодна как лед и пробудилась для жизни только на один момент. Об этом моменте я и хочу вам рассказать. Итак, после обеда (нас было человек шесть, все, по-видимому, ее близкие друзья) перешли мы в полутемную гостиную. Я, конечно, около Веры на диване. Разговор общий, малоинтересный. Вера холодна и недоступна. На ней вечернее платье с огромным вырезом на спине. И вот я, не прекращая светского разговора, тихо, но властно протягиваю руку и быстро хлопаю ее несколько раз по голой спине. Если бы вы знали, что тут случилось с моей Галатеей! Как вдруг оживился этот холодный мрамор! Действительно, вы только подумайте: человек в первый раз в доме, в салоне приличной и холодной дамы, в обществе ее друзей, и вдруг, не говоря худого слова, то есть я хочу сказать, совершенно неожиданно, такой интимнейший жест. Она вскочила, как тигрица. Она не помнила себя. В ней, вероятно, в первый раз в жизни проснулась женщина. Она взвизгнула и быстрым движением закатила мне

плюху. Не знаю, что было бы, если бы мы были одни! На что был бы способен оживший мрамор ее тела. Ее выручил этот гнусный тип Сток, Строк. Он заорал:

«Молодой человек, вы старик, а ведете себя, как мальчишка», – и вытурил меня из дому.

С тех пор мы не встречались. Но я знаю, что этого момента она никогда не забудет. И знаю, что она будет избегать встречи со мной. Бедняжка! Но ты притихла, моя дорогая девочка? Ты боишься меня. Не надо бояться Вовочку!

Он сделал «мусеньку», поджав губы бантиком и поморгав глазами.

– Вовочка добленький.

– Перестаньте, – раздраженно сказала Лизочка. – На нас смотрят.

– Не все ли равно, раз мы любим друг друга. Ах, женщины, женщины. Все вы на один лад. Знаете, что Тургенев сказал, то есть Достоевский – знаменитый писатель-драматург и знаток. «Женщину надо удивить». О, как это верно. Мой последний роман... Я ее удивил. Я швырял деньгами, как Крез, и был кроток, как Мадонна. Я послал ей приличный букет гвоздики. Потом огромную коробку конфет. Полтора фунта, с бантом. И вот, когда она, упоенная своей властью, уже приготовилась смотреть на меня как на раба, я вдруг перестал ее преследовать. Понимаете? Как это сразу ударило ее по нервам. Все эти безумства, цветы, конфеты, в проекте вечер в кинематографе Парамоунт и вдруг – стоп. Жду день, два. И вдруг звонок. Я так и знал. Она. Входит, бледная, трепетная... «Я на одну минутку». Я беру ее обеими ладонями за лицо и говорю властно, но все же – из деликатности – вопросительно:

«Моя?»

Она отстранила меня...

– И закатила плюху? – деловито спросила Лизочка.

– Н-не совсем. Она быстро овладела собой. Как женщина опытная, она поняла, что ее ждут страдания. Она отпрянула и побледневшими губами пролепетала:

«Дайте мне, пожалуйста, двести сорок восемь франков до вторника».

– Ну и что же? – спросила Лизочка.

– Ну и ничего.

– Дали?

– Дал.

– А потом?

– Она взяла деньги и ушла. Я ее больше и не видел.

– И не отдала?

– Какой вы еще ребенок! Ведь она взяла деньги, чтобы как-нибудь оправдать свой визит ко мне. Но она справилась с собой, порвала сразу эту огненную нить, которая протянулась между нами. И я вполне понимаю, почему она избегает встречи. Ведь и ее силам есть предел. Вот, дорогое дитя мое, какие темные бездны сладострастия открыл я перед твоими испуганными глазками. Какая удивительная женщина! Какой исключительный порыв!

Лизочка задумалась.

– Да, конечно, – сказала она. – А по-моему, вам бы уж лучше плюху. Практичнее. А?

Самоотверженная любовь

Посвящ. Lolo

Лиля Люлина была босоножка.

Танцевала она, положим, редко, да и то в башмаках, потому что муж Люлиной, трагик Кинжалов, был ревнив и ставил вопрос ребром:

– Сегодня откроешь руки, завтра ноги, а послезавтра что?

И вот из страха перед этим трагическим «послезавтра» Люлина и отплясывала свои босоножные танцы в чулках и туфлях.

Да это и не огорчало ее.

Ее огорчало совсем другое: она любила карты, а трагик не любил ее любовь к картам.

Она дулась в карты по целым ночам, а трагик дулся на нее по целым дням.

Возвращаясь под утро домой, она часто заставляла его еще одетым, бледного, нервного – он не спал всю ночь. Его раздражает ее позорная страсть.

Пусть она знает раз навсегда, что, пока она резвится за ломберным столом, он, бледный, тоскующий, с горькой улыбкой отчаяния, бродит один по темным комнатам и спрашивает у белеющего за окном рассвета: «Быть или не быть?»

Лиля Люлина мучилась за него, мучилась целый день до вечера. А вечером, вздохнув, уходила играть в карты.

Но все на свете кончается.

Однажды часов в шесть утра проигравшаяся в пух и прах Люлина возвращалась домой. Провожал ее комик Стрункин. Шли пешком. Комик подшучивал:

– Вы оттого и проигрываете, Лиличка, что муж в вас влюблен, как лошадь. Кто счастлив в любви, тому не может везти в карты.

Недалеко от своего подъезда Лиля остановилась как вкопанная.

– Смотрите. Ведь это он. Ведь это он! – Действительно, это был он – трагик Кинжалов. Выскочил он откуда-то из-за угла, бледный, с выпученными глазами, и быстро юркнул в подъезд.

– Как странно, он не видал нас, – удивился Стрункин.

– Господи, господа, – ахала Лиля. – По-моему, это он от бешенства ослеп. Он, верно, подстерегал меня, чтобы убить. Друг мой Стрункин, знаете – я не буду больше играть в карты. Бедный Боречка! Ведь он сошел с ума. Как вы думаете – он еще сможет оправиться?

Полная нежности и раскаяния, вошла она в спальню.

Кинжалов уже успел раздеться и даже заснуть. Но спал как-то вполглаза.

«Притворяется, – похолодела Лиля, – выждет, чтобы я уснула, и зарежет, как курицу».

Она легла, притихла и насторожилась.

Кинжалов сел, прислушался, потом встал и тихо, на цыпочках, вышел из комнаты.

Лиля, вся дрожа, поднялась тоже.

«Пошел за ножом. Господи, господа!.. Доигралась...»

Она тихо прокралась за ним.

У дверей кабинета остановилась... Что это? Он говорит? Он с ума сошел, он один разговаривает. Она приоткрыла дверь.

– Барышня. Сто пять тринадцать. Мерси. Это телефон.

Лиля приободрилась и подошла ближе.

– Тамарочка? Ты? – нежно нашептывал Кинжалов. – Не спишь, детка? Ах, я тоже весь горю. Не оторваться от твоих змеиных ласк. Ах... ах... Я тоже... Представь себе, возвращаясь

домой, столкнулся нос к носу с Лилей. Ничего... ничего. Она была так погружена в свои картежные воспоминания, что даже не заметила меня. Ай! Кто меня трога...

За его спиной, грозно сверкая глазами, стояла Лиля.

– Так вот оно что! Так вот как ты проводишь время в мое отсутствие?! Ты изменяешь мне! Подлый!

Лиля всхлипнула и вдруг разревелась искренно, горько и отчаянно.

– Я думала... ты, как честный человек, просто хочешь зарезать меня... а ты... а ты...

Кинжалов погладил ее по голове и сказал кротко:

– Дорогая моя! Какая ты глупенькая! Ведь это же все из любви к тебе. Я не отрицаю. Да, я изменил тебе, но, ей-богу, единственно для того, чтобы тебе везло в карты. Ведь я так люблю тебя, что для твоей пользы готов на все.

Лиля Люлина больше не играет в карты.

Самоотверженная любовь мужа излечила ее от этой страсти.

Да, дети мои. Любовь, способная на самопожертвование, всегда получит награду свою.

Весна

Балконную дверь только что выставили.

Клочки бурой ваты и кусочки замазки валяются на полу.

Лиза стоит на балконе, шурится на солнце и думает о Кате Потапович.

Вчера, за уроком географии, Катя рассказала ей о своем романе с кадетом Веселкиным. Катя целуется с Веселкиным, и еще у них что-то такое, о чем она в классе рассказать не может, а скажет потом, в воскресенье, после обеда, когда будет темно.

– А ты в кого влюблена? – спрашивала Катя.

– Я не могу тебе сказать этого сейчас, – ответила Лиза. – Я скажу тоже потом, в воскресенье.

Катя посмотрела на нее внимательно и крепко прижалась к ней.

Лиза схитрила. Но что же оставалось ей делать? Ведь не признаться же прямо, что у них в доме никаких мальчиков не бывает и что ей в голову не приходило влюбиться.

Это вышло бы очень неловко.

Может быть, сказать, что она тоже влюблена в кадета Веселкина? Но Катя знает, что она кадета никогда и в глаза не видала. Вот положение!

Но, с другой стороны, когда так много знаешь о человеке, как о Веселкине, то ведь имеешь право влюбиться в него и без всякого личного знакомства. Разве это не так?

Легкий ветерок вздохнул свежестью только что растаявшего снега, пощекотал Лизу по щеке прядкой выбившихся из косы волос и весело покатило по балкону клубки бурой ваты.

Лиза лениво потянулась и пошла в комнату.

После балкона комната стала темной, душной и тихой.

Лиза подошла к зеркалу, посмотрела на свой круглый веснушчатый нос, белокурую косичку – крысиный хвостик и подумала с гордой радостью:

«Какая я красавица! Боже мой, какая я красавица! И через три года мне шестнадцать лет, и я смогу выйти замуж!»

Закинула руки за голову, как красавица на картине «Одалиска», повернулась, изогнулась, посмотрела, как болтается белокурая косичка, призадумалась и деловито пошла в спальню.

Там, у изголовья узкой железной кровати, висел на голубой ленточке образок в золоченой ризке.

Лиза оглянулась, украдкой перекрестилась, отвязала ленточку, положила образок прямо на подушку и побежала снова к зеркалу.

Там, лукаво улыбаясь, перевязала ленточкой свою косичку и снова изогнулась.

Вид был тот же, что и прежде. Только теперь на конце крысиного хвостика болтался грязный, мятый голубой комочек.

– Красавица! – шептала Лиза. – Ты рада, что ты – красавица?

Сердцем красавица,
Как ветерок полей,
Кто ей поверит,
Но и обман.

Какие странные слова! Но это ничего. В романсах всегда так. Всегда странные слова. А может быть, не так? Может быть, надо:

Кто ей поверит,
Тот и обман.

Ну, да! Обман – значит, обманут.

Тот и обманут.

И вдруг мелькнула мысль:

– А не обманывает ли ее Катя? Может быть, у нее никакого романа и нет. Ведь уверяла же она в прошлом году, что в нее на даче влюбился какой-то Шура Золотивцев и даже бросился в воду. А потом шли они вместе из гимназии, видят – едет на извозчике какой-то маленький мальчик с нянькой и кланяется Кате.

– Это кто?

– Шура Золотивцев.

– Как? Тот самый, который из-за тебя в воду бросился?

– Ну да. Что же тут удивительного?

– Да ведь он же совсем маленький! – А Катя рассердилась.

– И вовсе он не маленький. Это он на извозчике такой маленький кажется. Ему уже двенадцать лет, а старшему его брату – семнадцать. Вот тебе и маленький.

Лиза смутно чувствовала, что это – не аргумент, что старшему брату может быть и восемнадцать лет, а самому Шуру все-таки только двенадцать, а на вид восемь. Но высказать это она как-то не сумела, а только надулась, а на другой день, во время большой перемены, гуляла по коридору с Женей Андреевой.

Лиза снова повернулась к зеркалу, потянула косичку, заложила голубой бантик за ухо и стала приплясывать.

Послышались шаги.

Лиза остановилась и покраснела так сильно, что даже в ушах у нее зазвенело.

Вошел сутулый студент Егоров, товарищ брата.

– Здравствуйте! Что? Кокетничаете?

Он был вялый, серый, с тусклыми глазами и сальными, прядистыми волосами.

Лиза вся замерла от стыда и тихо пролепетала:

– Нет... я... завязала ленточку...

Он чуть-чуть улыбнулся.

– Что ж, это очень хорошо, это очень красиво.

Он приостановился, хотел сказать еще что-нибудь, успокоить ее, чтобы она не обижалась и не смущалась, да как-то не придумал, что, и только повторил:

– Это очень, очень красиво!

Потом повернулся и пошел в комнату брата, горбясь и кренделяя длинными, развихленными ногами.

Лиза закрыла лицо руками и тихо, счастливо засмеялась.

– Красиво!.. Он сказал – красиво!.. Я красивая! Я красивая! И он это сказал! Значит, он любит меня!

Она выбежала на балкон гордая, задышающаяся от своего огромного счастья, и шептала весеннему солнцу:

– Я люблю его! Люблю студента Егорова, безумно люблю! Я завтра все расскажу Кате! Все! Все! Все!

И жалко и весело дрожал за ее плечами крысиный хвостик с голубой тряпочкой.

Счастливая

А. А. Ц.

Да, один раз я была счастлива.

Я давно определила, что такое счастье, очень давно, – в шесть лет. А когда оно пришло ко мне, я его не сразу узнала. Но вспомнила, какое оно должно быть, и тогда поняла, что я счастлива.

* * *

Я помню:

Мне шесть лет. Моей сестре – четыре.

Мы долго бегали после обеда вдоль длинного зала, догоняли друг друга, визжали и падали. Теперь мы устали и притихли.

Стоим рядом, смотрим в окно на мутно-весеннюю сумеречную улицу.

Сумерки весенние всегда тревожны и всегда печальны.

И мы молчим. Слушаем, как дрожат хрусталики канделябров от проезжающих по улице телег.

Если бы мы были большие, мы бы думали о людской злобе, об обидах, о нашей любви, которую оскорбили, и о той любви, которую мы оскорбили сами, и о счастье, которого нет.

Но мы – дети, и мы ничего не знаем. Мы только молчим. Нам жутко обернуться. Нам кажется, что зал уже совсем потемнел, и потемнел весь этот большой, гулкий дом, в котором мы живем. Отчего он такой тихий сейчас? Может быть, все ушли из него и забыли нас, маленьких девочек, прижавшихся к окну в темной огромной комнате?

Около своего плеча вижу испуганный, круглый глаз сестры. Она смотрит на меня: заплакать ей или нет?

И тут я вспоминаю мое сегодняшнее дневное впечатление, такое яркое, такое красивое, что забываю сразу и темный дом, и тускло-тоскливую улицу.

– Лена! – говорю я громко и весело. – Лена! Я сегодня видела конку!

Я не могу рассказать ей все о том безмерно радостном впечатлении, какое произвела на меня конка.

Лошади были белые и бежали скоро-скоро; сам вагон был красный или желтый, красивый, народа в нем сидело много, все чужие, так что могли друг с другом познакомиться и даже поиграть в какую-нибудь тихую игру. А сзади, на подножке стоял кондуктор, весь в золоте, – а может быть, и не весь, а только немножко, на пуговицах, – и трубил в золотую трубу:

– Ррам-рра-ра!

Само солнце звенело в этой трубе и вылетало из нее златозвонкими брызгами.

Как расскажешь это все! Можно сказать только:

– Лена! Я видела конку!

Да и не надо ничего больше. По моему голосу, по моему лицу она поняла всю беспредельную красоту этого видения.

И неужели каждый может вскочить в эту колесницу радости и понестись под звоны солнечной трубы?

– Ррам-рра-ра!

Нет, не всякий. Фрейлейн говорит, что нужно за это платить. Оттого нас там и не возят. Нас запирают в скучную, затхлую карету с дребезжающим окном, пахнущую сафьяном и пачулями, и не позволяют даже прижимать нос к стеклу.

Но когда мы будем большими и богатыми, мы будем ездить только на конке. Мы будем, будем, будем счастливыми!

* * *

Я зашла далеко, на окраину города. И дело, по которому я пришла, не выгорело, и жара истомила меня.

Кругом глухо, ни одного извозчика.

Но вот, дребезжа всем своим существом, подкатила одноклячная конка. Лошадь, белая, тощая, гремела костями и шелкала болтающимися постромками о свою сухую кожу. Зловеще моталась длинная белая морда.

– Измывайтесь, измывайтесь, а вот сдохну на повороте, – все равно вылезете на улицу.

Безнадежно-унылый кондуктор подождал, пока я влезу, и безнадежно протрубил в медный рожок.

– Ррам-рра-ра!

И больно было в голове от этого резкого медного крика и от палящего солнца, ударявшего злым лучом по завитку трубы.

Внутри вагона было душно, пахло раскаленным утюгом.

Какая-то темная личность в фуражке с кокардой долго смотрела на меня мутными глазами и вдруг, словно поняла что-то, ослабилась, подседа и сказала, дыша мне в лицо соленым огурцом:

– Разрешите мне вам сопутствовать. – Я встала и вышла на площадку.

Конка остановилась, подождала встречного вагона и снова задрезжалась.

А на тротуаре стояла маленькая девочка и смотрела нам вслед круглыми голубыми глазами, удивленно и восторженно.

И вдруг я вспомнила.

«Мы будем ездить на конке. Мы будем, будем, будем счастливыми!»

Ведь я, значит, счастливая! Я еду на конке и могу познакомиться со всеми пассажирами, и кондуктор трубит, и горит солнце на его рожке.

Я счастлива! Я счастлива!

Но где она, та маленькая девочка в большом темном зале, придумавшая для меня это счастье? Если бы я могла найти ее и рассказать ей, – она бы обрадовалась.

Как страшно, что никогда не найду ее, что нет ее больше, и никогда не будет ее, самой мне родной и близкой, – меня самой.

А я живу...

Ревность

С самого утра было как-то тревожно.

Началась тревога с того, что утром вместо обычных белых чулок подали какие-то мутно-голубые, и нянька ворчала, что прачка все белье пересинила.

– Статочное ли дело это такое белье подавать. А туда же, «Матрена Карповна»! Нет, коли ты себя Матреной Карповной зовешь, так должна понимать, что делаешь, а не валять зря!

Лиза сидела на кровати и разглядывала свои худые длинные ноги, которыми она вот уже семь лет шагает по божьему свету. Смотрит на голубые чулки и думает:

– Нехорошие чулки. Смертный цвет. Будет мне беда! – Потом вместо няньки стала ее причесывать горничная Корнелька с масляной головой, масляными руками и хитрыми масляными глазами.

Корнелька драла гребнем волосы больно-пребольно, но Лиза считала унижительным для себя хныкать при ней и только кряхтела.

– Отчего у вас руки масляные?

Корнелька повернула несколько раз свою красную короткую руку, словно любуясь ею.

– Это у меня ручки от работы так блестят. Я до работы прилежна, вот и ручки блестят.

* * *

У террасы, под старой липой, на маленькой глиняной печурке нянька варила варенье.

Кухаркина девчонка Стешка помогала, подкладывала щепок в печурку, бегала за ложкой, за тарелкой, отгоняла веткой мух от тазика.

Нянька поощряла девчонку и подзадоривала:

– Молодец, Стеша! Ну что за умница эта Стеша. Вот она мне сейчас и холодненькой водички принесет. Пойди, Стеша, принеси водички. Этой Стеше прямо цены нет.

Лиза ходила вокруг липы, перелезала через толстые ее корни. Между корнями было много занятного. В одном уголку жил дохлый жук. Крылья у него были сухие, как шелуха, что бывает внутри кедрового орешка. Лиза перевернула его палочкой сначала на спину, потом снова на брюшко, но он не испугался и не убежал. Совсем был дохлый и жил спокойно.

В другом уголку натянута была паутинка, а в ней лежала крошечная муха. Паутинка, верно, была мушиным гамаком.

В третьем уголку сидела божья коровка и думала про свои дела.

Лиза подняла ее палочкой и понесла к мухе познакомиться, но божья коровка по дороге вдруг раскололась пополам, раздвинула крылья и улетела.

Нянька застучала ложкой по тарелке, снимая накипь с варенья.

– Нянюшка, дайте мне пеночек! – попросила Лиза.

Нянька была красная и сердитая. Сдувала муху с верхней губы, но муха точно прилипла к влажному лицу и переползала то на нос, то на щеку.

– Пойди, пойди! Нечего тут вертеться! Какие тебе пеночки, еще и не вскипело. Другая сидела бы в детской, картинки бы смотрела. Видишь, няне некогда. У, непоседа! Стеша, умница, подложи щепочек! Молодец у меня Стеша.

Лиза смотрела, как Стеша, мелко семеня босыми ногами, принесла щепок и старательно подсовывала их в печурку.

Косичка у Стешки была тоненькая, перевязанная грязной голубой тряпочкой, а шея под косичкой темная, худая, как палка.

«Это она нарочно так старается, – думала Лиза. – Нарочно. Воображает, что она и вправду умная. А няня просто так говорит».

Стешка поднялась, няня погладила ее по голове и сказала:

– Спасибо, Стешенька. Ужо дам тебе пеночек. – У Лизы вдруг громко-громко застучало в висках. Она легла животом на скамейку и, болтая ногами в «смертных» чулках, сказала, злобно улыбаясь вздрагивающими губами:

– А я не пойду отсюда! Не хочу и не пойду! – Нянька обернулась и всплеснула руками:

– Ну, что это, ей-богу, за наказание! Сегодня чистое платье надели, а она его по грязной скамейке валяет. Как есть все загваздала! Да уйдешь ты отсюда или нет?

– Не хочу и не пойду!

Нянька хотела что-то сказать, но в это время поднялась на варенье густая белая пена.

– Ах ты, господи! Варенье уйдет.

Она кинулась к тазику, а Лиза, поднявшись, демонстративно запела и заскакала прочь на одной ножке.

Она уже вышла из-под липы, когда встретила Стешку, несшую ягоды на блюде.

Стешка шагала осторожно – нарочно, чтобы показать Лизе, что она умница.

Лиза подошла к ней и, задыхаясь, сказала шепотом:

– Пошла вон! Пошла вон, дура!

Стешка сделала испуганное лицо, нарочно, чтобы няня заметила, и, ускорив шаг, пошла под липу.

Лиза побежала в густые заросли крыжовника, повалилась в траву и громко всхлипнула.

Теперь вся жизнь ее была разбита.

Она лежала и, закрыв глаза, видела тонкую Стешкину косичку, и грязную голубую тряпчатку-завязушку, и худую Стешкину шею, черную, как палка.

А няня гладит ее и приговаривает: «Умница, Стешенька! Вот ужо я тебе пеночек дам!»

– Пе-еночек! Пе-еночек! – шепчет Лиза, и каждый раз от этого слова делается так больно, так горько, что слезы текут из глаз прямо в уши.

– Пе-еночек!

– А ведь может и так быть, что пойдет Стешка за щепками, да и помрет. Вот все и поправится!

Нет, не поправится. Няня жалеть станет. Скажет: «Вот была умница да и померла. Лучше бы Лиза померла». И снова слезы текут прямо в уши.

– Нечего сказать, нашла умницу! Необразованную. Я учусь. Я по-французски умею: жэ, тью а, иль а, вузавэ, нузавэ...³ Я вырасту большая, выйду замуж за генерала, приеду сюда, скажу: «Это что за девчонка? Выгоните ее вон, она украла мою голубую тряпку себе в косу».

Лизе стало уже немножко легче, да вдруг вспомнились пеночки.

– Нет! Ничего этого не будет! Теперь всему конец. Она и домой не пойдет. К чему?

Она ляжет вот так на спину, как прачка Марья, когда померла. Закроет глаза и будет лежать тихо-тихо.

Увидит бог и пошлет ангелов за ее душенькой.

Прилетят ангелы, крылышками зашуршат, – ффр... и понесут ее душеньку высоко-высоко.

А дома сядут обедать, и все будут удивляться:

– Что это с Лизой?

– Отчего это Лиза ничего не ест?

– Отчего это наша Лиза стала такая бледная? – А она все молчит и ни на кого не смотрит.

А мама вдруг и догадается!

– Да как же, – скажет, – вы не понимаете? Ведь это она умерла!

³ Я имею, ты имеешь, он имеет, вы имеете, мы имеем... (искаж. фр.).

Лиза сидит тихо, умиленно вздыхает, смотрит на свои тонкие ноги в чулках «смертного» цвета. Вот и умерла она, вот и умерла.

Гудит что-то, гудит все ближе, ближе... и вдруг – бац прямо Лизе в лоб. Это толстый майский жук, пьяный от солнца, налетел, ударился и сам свалился.

Лиза вскочила и бросилась бежать.

– Няня! Няня-а! Меня жук ударил! Жук дерется! – Няня испугалась, смотрит ласково:

– Чего ты, глупенькая? И знаку никакого нету. Это тебе так показалось. Присядь, умница, присядь на скамеечку, вот я тебе сейчас пеночек дам, хороших пеночек. Хочешь? А?

«Пе-еночек! Пе-еночек!» – засмеялось что-то у Лизы глубоко в самой душе, которую не успели унести божьи ангелы.

– Няня, я никогда не помру? Правда? Буду много супу есть, молоко пить и не помру. Правда?

Брошечка

Супруги Шариковы поссорились из-за актрисы Крутомирской, которая была так глупа, что даже не умела отличать женского голоса от мужского, и однажды, позвонив к Шарикову по телефону, закричала прямо в ухо подошедшей на звонок супруге его:

– Дорогой Гамлет! Ваши ласки горят в моем организме бесконечным числом огней!

Шарикову в тот же вечер приготовили постель в кабинете, а утром жена прислала ему вместе с кофе записку:

«Ни в какие объяснения вступать не желаю. Все слишком ясно и слишком гнусно. Антасия Шарикова».

Так как самому Шарикову, собственно говоря, тоже ни в какие объяснения вступать не хотелось, то он и не настаивал, а только старался несколько дней не показываться жене на глаза. Уходил рано на службу, обедал в ресторане, а вечера проводил с актрисой Крутомирской, часто интригуя ее загадочной фразой:

– Мы с вами все равно прокляты и можем искать спасения только друг в друге.

Крутомирская восклицала:

– Гамлет! В вас много искренности! Отчего вы не пошли на сцену?

Так мирно протекло несколько дней, и вот однажды утром, а именно в пятницу десятого числа, одеваясь, Шариков увидел на полу около дивана, на котором он спал, маленькую брошечку с красноватым камешком.

Шариков поднял брошечку, рассматривал и думал:

«У жены такой вещицы нет. Это я знаю наверное. Следовательно, я сам вытряхнул ее из своего платья. Нет ли там еще чего?»

Он старательно вытряс сюртук, вывернул все карманы.

И вдруг он лукаво усмехнулся и подмигнул себе левым глазом.

Дело было ясное: брошечку сунула ему в карман сама Крутомирская, желая подшутить. Остроумные люди часто так шутят – подсунул кому-нибудь свою вещь, а потом говорят: «А ну-ка, где мой портсигар или часы? А ну-ка, обобщем-ка Ивана Семеныча».

Найдут и хохочут. Это очень смешно.

Вечером Шариков вошел в уборную Крутомирской и, лукаво улыбаясь, подал ей брошечку, завернутую в бумагу.

– Позвольте вам преподнести, хе-хе!

– Не к чему это! Зачем вы беспокоитесь! – деликатничала актриса, развертывая подарок.

Но когда развернула и рассмотрела, вдруг бросила его на стол и надула губы:

– Я вас не понимаю! Это, очевидно, шутка! Подарите эту дрянь вашей горничной. Я не ношу серебряной дряни с фальшивым стеклом.

– С фальшивым стекло-ом? – удивился Шариков. – Да ведь это же ваша брошка! И разве бывает фальшивое стекло?

Крутомирская заплакала и одновременно затопала ногами – из двух ролей зараз.

– Я всегда знала, что я для вас ничтожество! Но я не позволю играть честью женщины!..

Берите эту гадость! Берите! Я не хочу до нее дотрагиваться: она, может быть, ядовитая!

Сколько ни убеждал ее Шариков в благородстве своих намерений, Крутомирская выгнала его вон.

Уходя, Шариков еще надеялся, что все это уладится, но услышал пущенное вдогонку: «Туда же! Нашелся Гамлет! Чинуш несчастный!»

Тут он потерял надежду.

На другой день надежда воскресла без всякой причины, сама собой, и он снова поехал к Крутомирской. Но та не приняла его. Он сам слышал, как сказали:

– Шариков? Не принимать!

И сказал это – что хуже всего – мужской голос. На третий день Шариков пришел к обеду домой и сказал жене:

– Милая! Я знаю, что ты святая, а я подлец. Но нужно же понимать человеческую душу!

– Ладно! – сказала жена. – Я уж четыре раза понимала человеческую душу! Да-с! В сентябре понимала, когда с бонной снюхались, и у Поповых на даче понимала, и в прошлом году, когда Маруськино письмо нашли. Ничего, ничего! И из-за Анны Петровны тоже понимала. Ну а теперь баста!

Шариков сложил руки, точно шел к причастию, и сказал кротко:

– Только на этот раз прости! Наточка! За прошлые раза не прошу! За прошлые не прощай. Бог с тобой! Я действительно был подлецом, но теперь клянусь тебе, что все кончено.

– Все кончено? А это что?

И, вынув из кармана загадочную брошечку, она поднесла ее к самому носу Шарикова. И, с достоинством повернувшись, прибавила:

– Я попросила бы вас не приносить, по крайней мере, домой вещественных доказательств вашей невинности, ха-ха!.. Я нашла это в вашем сюртуке. Возьмите эту дрянь, она жжет мне руки!

Шариков покорно спрятал брошечку в жилетный карман и целую ночь думал о ней. А утром решительными шагами пошел к жене:

– Я все понимаю, – сказал он. – Вы хотите развода. Я согласен.

– Я тоже согласна! – неожиданно обрадовалась жена. Шариков удивился:

– Вы любите другого?

– Может быть. – Шариков засопел носом.

– Он на вас никогда не женится.

– Нет, женится!

– Хотел бы я видеть... Ха-ха!

– Во всяком случае, вас это не касается. – Шариков вспыхнул:

– По-озвольте! Муж моей жены меня не касается. Нет, каково? А?

Помолчали.

– Во всяком случае, я согласен. Но перед тем как мы расстанемся окончательно, мне хотелось бы выяснить один вопрос. Скажите, кто у вас был в пятницу вечером?

Шарикова чуть-чуть покраснела и ответила неестественно честным голосом:

– Очень просто: заходил Чибисов на одну минутку. Только спросил, где ты, и сейчас же ушел. Даже не раздевался ничуть.

– А не в кабинете ли на диване сидел Чибисов? – медленно проскандировал Шариков, пронизательно щуря глаза.

– А что?

– Тогда все ясно. Брошка, которую вы мне тыкали в нос, принадлежит Чибисову. Он ее здесь потерял.

– Что за вздор! Он брошек не носит! Он мужчина!

– На себе не носит, а кому-нибудь носит и дарит. Какой-нибудь актрисе, которая никогда и Гамлета-то в глаза не видала. Ха-ха! Он ей брошки носит, а она его чинушом ругает. Дело очень известное! Ха-ха! Можете передать ему сокровище.

Он швырнул брошку на стол и вышел.

Шарикова долго плакала. От одиннадцати до без четверти два. Затем запаковала брошечку в коробку из-под духов и написала письмо.

«Объяснений никаких не желаю. Все слишком ясно и слишком гнусно. Взглянув на посылаемый вам предмет, вы поймете, что мне все известно.

Я с горечью вспоминаю слова поэта:

Так вот где таилась погибель моя: Мне смертию кость угрожала.

В данном случае кость – это вы. Хотя, конечно, ни о какой смерти не может быть и речи. Я испытываю стыд за свою ошибку, но смерти я не испытываю. Прощайте. Кланяйтесь от меня той, которая едет на «Гамлета», зашливаясь брошкой в полтинник.

Вы поняли намек?

Забудь, если можешь!

А.»

Ответ на письмо пришел в тот же вечер. Шарикова читала его круглыми от бешенства глазами.

«Милостивая государыня! Ваше истерическое послание я прочел и пользуюсь случаем, чтобы откланяться. Вы облегчили мне тяжелую развязку. Присланную вами, очевидно, чтобы оскорбить меня, штуку я отдал швейцарихе. Sic transit Catilina⁴

⁴ Так уходит Катилина (*лат.*).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.